



ОНОРЕ

ДЕБАЛЬЗАК

*ГОБСЕК
ОТЕЦ ГОРИО*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Оноре де Бальзак
Гобсек. Отец Горио (сборник)

«ФТМ»
«Издательство АСТ»

1830,1835

УДК 821.133.1-31
ББК 84 (4Фра)-44

де Бальзак О.

Гобсек. Отец Горио (сборник) / О. де Бальзак — «ФТМ»,
«Издательство АСТ», 1830,1835 — (Эксклюзивная классика
(АСТ))

ISBN 978-5-17-101936-5

«Гобсек» и «Отец Горио». Два самых известных произведения из цикла «Человеческая комедия». Циничный и умный ростовщик не останавливается ни перед чем ради наживы, алчность заставляет его идти на сомнительные авантюры и, совершенно не испытывая мук совести, калечить человеческие судьбы... Медленно умирает в бедном пансионе несчастный старик, растративший огромное состояние на обожаемых дочерей — легкомысленных пустышек, интересующихся только любовными интрижками да светскими удовольствиями... Жажда денег и власти, иссушающая и уродующая душу, и родительская любовь, бесконечная, жертвенная, всепрощающая, — вневременные темы, которые будут актуальны всегда, ведь человеческую натуру изменить невозможно. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1-31

ББК 84 (4Фра)-44

ISBN 978-5-17-101936-5

© де Бальзак О., 1830,1835

© ФТМ, 1830,1835

© Издательство АСТ, 1830,1835

Содержание

Гобсек	6
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Оноре де Бальзак Гобсек. Отец Горио *Сборник*

Honoré de Balzac
Gobseck, Le Père Goriot

* * *

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

- © Перевод. Н.И. Немчинова, наследники, 2018
- © Перевод. Е.Ф. Корш, наследники, 2017
- © ООО «Издательство АСТ», 2018

Гобсек

Барону Баршу де Пенюэн

*Из всех бывших питомцев Вандомского коллежа, кажется, одни лишь мы с тобой избрали литературное поприще – недаром же мы увлекались философией в том возрасте, когда нам полагалось увлекаться только страницами *De viris*. Мы встретились с тобою вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. Итак, мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь свое имя, как мне приятно поставить его.*

*Твой старый школьный товарищ
де Бальзак*

Как-то раз зимою 1829–1830 года в салоне виконтессы де Гранлье до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к ее родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каминных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колеса его экипажа, виконтесса, видя, что остались только ее брат да друг семьи, заканчивавшие партию в пикет, подошла к дочери; девушка стояла у камина и как будто внимательно разглядывала сквозной узор на экране, но, несомненно, прислушивалась к шуму отъезжающего кабриолета, что подтвердило опасения матери.

– Камилла, если ты и дальше будешь держать себя с графом де Ресто так же, как нынче вечером, мне придется отказать ему от дома. Послушайся меня, детка, если веришь нежной моей любви к тебе, позволь мне руководить тобою в жизни. В семнадцать лет девушка не может судить ни о прошлом, ни о будущем, ни о некоторых требованиях общества. Я укажу тебе только на одно обстоятельство: у господина де Ресто есть мать, женщина, способная проглотить миллионное состояние, особа низкого происхождения – в девичестве ее фамилия была Горю, и в молодости она вызвала много толков о себе. Она очень дурно относилась к своему отцу и, право, не заслуживает такого хорошего сына, как господин де Ресто. Молодой граф ее обожает и поддерживает с сыновней преданностью, достойной всяческих похвал. А как он заботится о своей сестре, о брате! Словом, поведение его просто превосходно, но, – добавила виконтесса с лукавым видом, – пока жива его мать, ни в одном порядочном семействе родители не отважатся доверить этому милому юноше будущность и приданое своей дочери.

– Я уловил несколько слов из вашего разговора с мадемуазель де Гранлье, и мне очень хочется вмешаться в него! – воскликнул вышеупомянутый друг семьи. – Я выиграл, граф, – сказал он, обращаясь к партнеру. – Оставляю вас и спешу на помощь вашей племяннице.

– Вот уж поистине слух настоящего стряпчего! – воскликнула виконтесса. – Дорогой Дервиль, как вы могли расслышать, что я говорила Камилле? Я шепталась с нею совсем тихонько.

– Я все понял по вашим глазам, – ответил Дервиль, усаживаясь у камина в глубокое кресло.

Дядя Камиллы сел рядом с племянницей, а г-жа де Гранлье устроилась в низеньком покойном кресле между дочерью и Дервилем.

– Пора мне, виконтесса, рассказать вам одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто.

– Историю?! – воскликнула Камилла. – Скорей рассказывайте, господин Дервиль!

Стряпчий бросил на г-жу де Гранлье взгляд, по которому она поняла, что рассказ этот будет для нее интересен. Виконтесса де Гранлье по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам в Сен-Жерменском предместье, и, конечно, может показаться удивительным, что какой-то парижский стряпчий решался говорить с нею так непринужденно и

держат себя в ее салоне запросто, но объяснить это очень легко. Г-жа де Гранлье, возвратившись во Францию вместе с королевской семьей, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование, назначенное ей Людовиком XVIII из сумм гражданского листа, – положение для нее невыносимое. Стряпчий Дервиль случайно обнаружил формальные неправомерности, допущенные в свое время Республикой при продаже особняка Гранлье, и заявил, что этот дом подлежит возвращению виконтессе. По ее поручению он повел процесс в суде и выиграл его. Осмелев от этого успеха, он затеял кляузную тяжбу с убежищем для престарелых и добился возвращения ей лесных угодий в Лиснэ. Затем он утвердил ее в правах собственности на несколько акций Орлеанского канала и довольно большие дома, которые император пожертвовал общественным учреждениям. Состояние г-жи де Гранлье, восстановленное благодаря ловкости молодого поверенного, стало давать ей около шестидесяти тысяч франков годового дохода, а тут подоспел закон о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги. Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении г-жи де Гранлье он достиг почета и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложения виконтессы, уговаривавшей его продать свою контору и перейти в судебное ведомство, где он мог бы при ее покровительстве чрезвычайно быстро сделать карьеру. За исключением дома г-жи де Гранлье, где он иногда проводил вечера, он бывал в свете лишь для поддержания связей. Он почитал себя счастливым, что, ревностно защищая интересы г-жи де Гранлье, показал и свое дарование, иначе его конторе грозила бы опасность захиреть, – в нем не было проницательности истого стряпчего. С тех пор как граф Эрнест де Ресто появился в доме виконтессы, Дервиль, угадав симпатию Камиллы к этому юноше, стал завсегдатаем салона г-жи де Гранлье, словно щеголь с Шоссе-д'Антен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместья. За несколько дней до описываемого вечера он встретил на балу мадемуазель де Гранлье и сказал ей, указывая глазами на графа:

– Жаль, что у этого юноши нет двух-трех миллионов. Правда?

– Почему «жаль»? Я не считаю это несчастьем, – ответила она. – Господин де Ресто человек очень одаренный, образованный, на хорошем счету у министра, к которому он прикомандирован. Я нисколько не сомневаюсь, что из него выйдет выдающийся деятель. А когда «этот юноша» окажется у власти, богатство само придет к нему в руки.

– Да, но вот если б он уже сейчас был богат!

– Если б он был богат... – краснея, повторила Камилла. – Что ж, все танцующие здесь девицы оспаривали бы его друг у друга, – добавила она, указывая на участниц кадрили.

– И тогда, – заметил стряпчий, – мадемуазель де Гранлье не была бы единственным магнитом, притягивающим его взоры. Вы, кажется, покраснели, – почему бы это? Вы к нему неравнодушны? Ну, скажите...

Камилла вспорхнула с кресла.

«Она влюблена в него», – подумал Дервиль.

С этого дня Камилла выказывала стряпчему особое внимание, поняв, что Дервиль одобряет ее склонность к Эрнесту де Ресто. А до тех пор, хотя ей и было известно, что ее семья многим обязана Дервилю, она питала к нему больше уважения, чем дружеской приязни, и в обращении ее с ним сквозило больше любезности, чем теплоты. В ее манерах и в тоне голоса было что-то указывавшее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность – это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей.

Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так:

– Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романтической истории, единственной в моей жизни... Ну вот, вы уж и смеетесь, вам забавно слышать, что у стряпчего могут быть какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то двадцать пять лет, а в эти молодые годы я уже

насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придется сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать, – речь идет о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать *лунным ликом*, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью – пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсу. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном столе до коврика перед кроватью, – совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимой в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как движения маятника. Это был какой-то человек-автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет; так же вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля он берег жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала так же бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди – человеческим сердцем. Если он бывал доволен истекшим днем, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок веселости, – право, невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех Кожаного Чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице Де-Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они одинаковой величины, в каждой единственная ее дверь выходит в длинный полутемный коридор с маленькими оконцами. Да это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы, еще раньше чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были под стать друг другу – совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое по причине безденежья во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких, сухопарых, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной наполеондор каким-то образом выпал у него из жилет-

ного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему.

– Это не моя! – воскликнул он, замахав рукой. – Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат!

По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопченном углу камина; обед ему приносили из ресторации. Старуха привратница в установленный час приходила прибираться его комнату. А фамилия у него по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная – Гобсек¹. Позднее, когда он поручил мне вести его дела, я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти семьдесят шесть лет. Он родился в тысяча семьсот сороковом году в предместье Антверпена; мать у него была еврейка; отец – голландец, полное его имя было Жан Эстер ван Гобсек. Вы, конечно, помните, как занимало весь Париж убийство женщины, прозванной *Прекрасная Голландка*. Как-то в разговоре с моим бывшим соседом я случайно упомянул об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления:

– Это моя внучатая племянница.

Только эти слова и вызвала у него смерть его единственной наследницы, внучки его сестры. На судебном разбирательстве я узнал, что Прекрасную Голландку звали Сарра ван Гобсек. Когда я попросил его объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил, улыбаясь:

– В нашем роду женщины никогда не выходили замуж.

Этот странный человек ни разу не пожелал увидеть ни одной из представительниц четырех женских поколений, составлявших его родню. Он ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя бы после его смерти. Мать пристроила его юнгой на корабль, и в десятилетнем возрасте он отплыл в голландские владения Ост-Индии, где и скитался двадцать лет. Морщины его желтоватого лба хранили тайну страшных испытаний, внезапных ужасных событий, неожиданных удач, романтических превратностей, безмерных радостей, голодных дней, попорченной любви, богатства, разорения и вновь нажитого богатства, смертельных опасностей, когда жизнь, висевшую на волоске, спасали мгновенные и, быть может, жестокие действия, оправданные необходимостью. Он знал г-на де Лалли, адмирала Симеза, г-на де Кергаруэта и д'Эстена, байи де Сюффрена, г-на де Портандюэра, лорда Корнуэлса, лорда Гастингса, отца Типпо-Саиба и самого Типпо-Саиба. С ним вел дела тот савояр, что служил в Дели радже Махаджи Синдиаху и был пособником могущества династии Махараттов. Были у него какие-то связи и с Виктором Юзом, и другими знаменитыми корсарами, так как он долго жил на острове Сен-Тома. Он все перепробовал, чтобы разбогатеть, даже пытался разыскать пресловутый клад – золото, зарытое племенем дикарей где-то в окрестностях Буэнос-Айреса. Он имел отношение ко всем перипетиям Войны за независимость Соединенных Штатов. Но об Индии или об Америке он говорил только со мною, и то очень редко, и всякий раз после этого как будто раскаивался в своей «болтливости». Если человечность, общение меж людьми считать своего рода религией, то Гобсека можно было назвать атеистом. Хотя я поставил себе целью изучить его, должен, к стыду своему, признаться, что до последней минуты его душа оставалась для меня тайной за семью замками. Иной раз я даже спрашивал себя, какого он пола. Если все ростовщики похожи на него, то они, верно, принадлежат к разряду бесполох. Остался ли он верен религии своей матери и смотрел на христиан как на добычу? Стал ли католиком, магометанином, последователем брахманизма, лютеранином? Я ничего не знал о его верованиях. Он казался скорее равнодушным к вопросам религии, чем неверующим. Однажды вечером я зашел к этому человеку, обратившемуся в золотого истукана и прозванного его жертвами в насмешку или по контрасту «папаша Гобсек».

¹ Гобсек (от фр. Gobsek) – Живоглот.

Он, по обыкновению, сидел в глубоком кресле, неподвижный, как статуя, вперив глаза в выступ камина, словно перечитывал свои учетные квитанции и расписки. Коптящая лампа на зеленой облезлой подставке бросала свет на его лицо, но от этого оно нисколько не оживлялось красками, а казалось еще бледнее. Старик поглядел на меня и молча указал рукой на мой привычный стул.

«О чем думает это существо? – спрашивал я себя. – Знает ли он, что есть в мире Бог, чувства, женская любовь, счастье?»

И мне даже как-то стало жаль его, точно он был тяжело болен. Однако я прекрасно понимал, что если у него есть миллионы в банке, то в мыслях он мог владеть всеми странами, которые исколесил, обшарил, взвесил, оценил, ограбил.

– Здравствуйте, папаша Гобсек, – сказал я.

Он повернул голову, и его густые черные брови чуть шевельнулись, – это характерное для него движение было равносильно самой приветливой улыбке южанина.

– Вы что-то хмуритесь сегодня, как в тот день, когда получили известие о банкротстве книгоиздателя, которого вы хвалили за ловкость, хотя и оказались его жертвой.

– Жертвой? – удивленно переспросил он.

– А помните, он добился полюбовной сделки с вами, переписал свои векселя на основании устава о неплатежеспособности, а когда его дела поправились, потребовал, чтобы вы скостили ему долг по этому соглашению.

– Да, он хитер был, – подтвердил старик. – Но я его потом опять прищемил.

– Может быть, вам надо предъявить ко взысканию какие-нибудь векселя? Кажется, сегодня тридцатое число.

Я в первый раз заговорил с ним о деньгах. Он вскинул на меня глаза и как-то насмешливо шевельнул бровями, а затем писклявым тихим голосом, очень похожим на звук флейты в руках неумелого музыканта, произнес:

– Я развлекаюсь.

– Так вы иногда и развлекаетесь?

– А по-вашему, только тот поэт, кто печатает свои стихи? – спросил он, пожав плечами и презрительно сощурившись.

«Поэзия? В такой голове?» – удивился я, так как еще ничего не знал тогда о его жизни.

– А у кого жизнь может быть такой блистательной, как у меня? – сказал он, и взгляд его загорелся. – Вы молоды, кровь у вас играет, а в голове от этого туман. Вы глядите на горящие головни в камине и видите в огоньках женские лица, а я вижу только угли. Вы всему верите, а я ничему не верю. Ну что ж, сберегите свои иллюзии, если можете. Я вам сейчас подведу итог человеческой жизни. Будь вы бродягой-путешественником, будь вы домоседом и не расставайтесь весь век со своим камельком да со своей супругой, все равно приходит возраст, когда вся жизнь – только привычка к излюбленной среде. И тогда счастье состоит в упражнении своих способностей применительно к житейской действительности. А кроме этих двух правил, все остальные – фальшь. У меня вот принципы менялись сообразно обстоятельствам – приходилось менять их в зависимости от географических широт. То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком, за Азорскими островами признается необходимостью. Нет на земле ничего прочного, есть только условности, и в каждом климате они различны. Для того, кто волей-неволей применялся ко всем общественным меркам, всяческие ваши нравственные правила и убеждения – пустые слова. Незыблемо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас самой природой: инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется личным интересом. Вот поживете с мое, узнаете, что из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это... золото. В золоте сосредоточены все силы человечества. Я путешествовал, видел, что по всей земле есть равнины и горы. Равнины надоедают, горы утомляют; словом, в каком

месте жить – это значения не имеет. А что касается нравов – человек везде одинаков: везде идет борьба между бедными и богатыми, везде. И она неизбежна. Так лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. Повсюду мускулистые люди трудятся, а худосочные мучаются. Да и наслаждения повсюду одни и те же, и повсюду они одинаково истощают силы; переживает все наслаждения только одна утеха – тщеславие. Тщеславие? Золото! Потоки золота. Чтобы осуществить наши прихоти, нужно время, нужны материальные возможности или усилия. Ну что ж! В золоте все содержится в зародыше, и все оно дает в действительности.

Одни только безумцы да больные люди могут находить счастье в том, чтобы убивать все вечера за картами в надежде выиграть несколько су. Только дураки могут тратить время на размышления о самых обыденных делах – возляжет ли такая-то дама на диван одна или в приятном обществе, и чего у ней больше: крови или лимфы, темперамента или добродетели? Только простофили могут воображать, что они приносят пользу ближним, занимаясь установлением принципов политики, чтобы управлять событиями, которых никогда нельзя предвидеть. Только олухам может быть приятно болтать об актерах и повторять их остроты, каждый день кружиться на прогулках, как звери в клетках, разве лишь на пространстве чуть побольше; рядиться ради других, задавать пиры ради других, похвально чистокровной лошастью или новомодной коляской, которую посчастливилось купить на целых три дня раньше, чем соседу. Вот вам вся жизнь ваших парижан, вся она укладывается в эти несколько фраз, – верно? Но взгляните на существование человека с той высоты, на какую им не подняться. В чем счастье? Это или сильные волнения, подтачивающие нашу жизнь, или размеренные занятия, которые превращают ее в некое подобие хорошо отрегулированного английского механизма. Выше этого счастья стоит так называемая «благородная» любознательность, стремление проникнуть в тайны природы и добиться известных результатов, воспроизводя ее явления. Вот вам, в двух словах, искусство и наука, страсть и спокойствие. Верно? Так вот, все человеческие страсти, распаленные столкновением интересов в нынешнем вашем обществе, проходят передо мною, и я произвожу им смотр, а сам живу в спокойствии. Научную вашу любознательность, своего рода поединок, в котором человек всегда бывает повержен, я заменяю проникновением во все побудительные причины, которые движут человечеством. Словом, я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мною ни малейшей власти.

Да вот послушайте, – заговорил он, помолчав, – я расскажу вам две истории, случившиеся сегодня утром на моих глазах, и вы поймете, в чем мои утехи.

Он поднялся, заложил дверь засовом, подошел к окну, задернул старый ковровый занавес, кольца которого взвизгнули, скользнув по металлическому пруту, и снова сел в кресло.

– Нынче утром, – сказал он, – мне надо было предъявить должникам только два векселя – остальные я еще вчера пустил в ход при расчетах по своим операциям. И то барыш! Ведь при учете я сбрасываю с платежной суммы расходы по взиманию долга и ставлю по сорок су за извозчика, хотя и не думал его нанимать. Разве не забавно, что из-за каких-нибудь шести франков учетного процента я бегу через весь Париж? Это я-то! Человек, который никому не подвластен и платит налоги всего семь франков. Первый вексель, на тысячу франков, учел у меня молодой человек, писанный красавец и щеголь: у него жилетки с искрой, у него и лорнет, и тильбюри, и английская лошадь, и тому подобное. А выдан был вексель женщиной, одной из самых прелестных парижанок, женой какого-то богатого помещика и вдобавок – графа. Почему же ее сиятельство графиня подписала вексель, юридически недействительный, но практически вполне надежный? Ведь эти жалкие женщины, светские дамы, до того боятся семейных скандалов в случае протеста векселя, что готовы бывают расплатиться собственной своей особой, коли не могут заплатить деньгами. Мне захотелось узнать тайную цену этого векселя. Что тут скрывается: глупость, опрометчивая любовь или состраданье? Второй вексель на такую же сумму, подписанный некой Фанни Мальво, учел у меня купец, торгующий полотном, верный кандидат в банкроты. Ведь ни один человек, если у него еще есть хоть самый малый кредит

в банке, не придет в мою лавочку: первый же его шаг от порога моей комнаты к моему письменному столу изобличает отчаяние, тщетные поиски ссуды у всех банкиров и надвигающийся крах. Я вижу у себя только затравленных оленей, за которыми гонится целая свора заимодавцев. Графиня живет на Гельдерской улице, а Фанни Мальво – на улице Монмартр. Сколько догадок я строил, когда выходил нынче утром из дому! Если у этих двух женщин нечем заплатить, они, конечно, примут меня ласковей, чем отца родного. Уж как графиня начнет фокусничать, какую будет комедию ломать из-за тысячи франков! Приветливо заулыбается, заговорит вкрадчивым, нежным голоском, каким любезничает с тем молодчиком, на чье имя выдан вексель, пожалуй, будет даже умолять меня! А я... – Старик бросил на меня холодный взгляд. – А я непоколебим! – сказал он. – Я появляюсь как возмездие, как укор совести... Ну, оставим мои догадки. Прихожу.

– Графиня еще не вставала, – заявляет мне горничная.

– Когда ее можно видеть?

– Не раньше двенадцати.

– Что ж, графиня больна?

– Нет, сударь, она вернулась с бала в три часа утра.

– Моя фамилия Гобсек. Доложите, что приходил Гобсек. Я еще раз зайду в полдень.

И я спустился по лестнице к выходу, наследив грязными подошвами на ковре, устилавшем мраморные ступени. Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей – не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать когтистую лапу Неотвратимости. Прихожу на улицу Монмартр, в неказистый дом, отворяю ветхую калитку в воротах, вижу двор – настоящий колодец, куда никогда не заглядывает солнце. В каморке привратницы темно, стекло в окне грязное, как измызганный, засаленный рукав теплого халата, да еще все в трещинах.

– Здесь живет мадемуазель Фанни Мальво?

– Живет, только ее сейчас нет дома. Но если вы насчет векселя, то она оставила для вас деньги.

– Я зайду попозже, – сказал я.

Деньги оставлены у привратницы – прекрасно, но мне любопытно посмотреть на самое должницу. Мне почему-то казалось, что это хорошенькая вертихвостка. Ну вот. Утро я провел на бульваре, рассматривая гравюры в окнах магазинов. Но ровно в полдень я уже проходил по гостиной, смежной со спальней графини.

– Барыня только что позвонила, – заявила мне горничная. – Не думаю, чтобы она сейчас приняла вас.

– Я подожду, – ответил я и уселся в кресло.

Открываются жалюзи, прибегает горничная.

– Пожалуйте, сударь.

По сладкому голоску горничной я понял, что хозяйке заплатить нечем. Зато какую же я красавицу тут увидел! В спешке она только накинула на обнаженные плечи кашемировую шаль и куталась в нее так искусно, что под этим покровом вырисовывалась вся ее статная фигура. На ней был лишь пеньюар, отделанный белоснежным рюшем, – значит, не меньше двух тысяч франков в год уходило на прачку, мастерицу по стирке тонкого белья. Голова ее была небрежно повязана, как у креолки, пестрым шелковым платком, а из-под него выбивались крупные черные локоны. Раскрытая постель была смята, и беспорядок ее говорил о тревожном сне. Художник дорого бы дал, чтобы побыть хоть несколько минут в спальне моей должницы в это утро. Складки занавесей у кровати дышали сладострастной негой, сбитая простыня на голубом шелковом пуховике, смятая подушка, резко белевшая на этом лазурном фоне кружевными своими оборками, казалось, еще сохраняли неясный отпечаток дивных форм, дразнивший воображение. На медвежьей шкуре, разостланной у бронзовых львов, поддерживающих кровать красного дерева, блестел атлас белых тuffелек, небрежно сброшенных усталой женщиной по

возвращении с бала. Со спинки стула свешивалось измятое платье, рукавами касаясь ковра. Вокруг ножки кресла обвились прозрачные чулки, которые унесло бы дуновением ветерка. По диванчику протянулись белые шелковые подвязки. На камине переливались блески полураскрытого дорогого веера. Ящики комода остались незадвинутыми. По всей комнате раскиданы были цветы, бриллианты, перчатки, букет, пояс и прочие принадлежности бального наряда. Пахло какими-то тонкими духами. Во всем была красота, лишенная гармонии, роскошь и беспорядок. И уже нищета, грозившая этой женщине или ее возлюбленному, притаившаяся за всей этой роскошью, поднимала голову и казалась им свои острые зубы. Утомленное лицо графини было под стать всей ее опочивальне, усеянной приметамы минувшего праздника.

Разбросанные повсюду безделки вызвали во мне чувство жалости: еще вчера все они были ее убором и кто-нибудь восторгался ими. И все они сливались в образ любви, отравленной угрызениями совести, в образ рассеянной жизни, роскоши, шумной суеты и выдавали танталовы усилия поймать ускользающие наслаждения. Красные пятна, проступившие на щеках этой молодой женщины, свидетельствовали лишь о нежности ее кожи, но лицо ее как будто припухло, темные тени под глазами, казалось, обозначились резче обычного. И все же природная энергия была в ней ключом, а все эти признаки безрассудной жизни не портили ее красоты. Глаза ее сверкали, она была великолепа: она напоминала одну из прекрасных Иродиад кисти Леонардо да Винчи (я ведь когда-то перепродавал картины старых мастеров), от нее веяло жизнью и силой. Ничего не было хилого, жалкого ни в линиях ее стана, ни в ее чертах; она, несомненно, должна была внушать любовь, но сама, казалось мне, была сильнее любви. Словом, эта женщина понравилась мне. Давно мое сердце так не билось. Ну, значит, я уже получил плату. Я сам отдал бы тысячу франков за то, чтобы вновь изведать ощущения, напоминающие мне дни молодости.

– Сударь, – сказала она, предложив мне сесть, – не будете ли вы так любезны немного отстрочить платеж?

– До полудня следующего дня, графиня, – сказал я, складывая вексель, который предъявил ей. – До этого срока я не имею права опротестовать ваш вексель.

А мысленно я говорил ей: «Плати за всю эту роскошь, плати за свой титул, плати за свое счастье, за все исключительные преимущества, которыми ты пользуешься. Для охраны своего добра богачи изобрели трибуналы, судей, гильотину, к которой, как мотыльки на гибельный огонь, сами устремляются, глупцы. Но для вас, для людей, которые спят на шелку и шелком укрываются, существует кое-что иное: укору совести, скрежет зубовой, скрываемый улыбкой, химеры с львиной пастью, вонзающие свои клыки вам в сердце».

– Опротестовать вексель? Неужели вы решитесь? – воскликнула она, впорив в меня взгляд. – Неужели вы так мало уважаете меня?

– Если бы сам король был мне должен, графиня, и не уплатил бы в срок, я бы подал на него в суд еще скорее, чем на всякого другого должника.

В эту минуту кто-то тихо постучался в дверь.

– Меня нет дома! – властно крикнула графиня.

– Анастази, это я. Мне нужно поговорить с вами.

– Попозже, дорогой, – ответила она уже менее резким тоном, но все же отнюдь не ласково.

– Что за шутки! Ведь вы с кем-то разговариваете, – отозвался голос, и в комнату вошел мужчина – несомненно, сам граф.

Графиня на меня взглянула, я понял ее – она стала моей рабой. Было время, юноша, когда я по глупости иной раз не опротестовывал векселей. В тысяча семьсот шестьдесят третьем году в Пондишери я пощадил одну женщину, и что же! Здорово она меня общипала! Поделом мне – зачем я ей доверился?

– Что вам угодно, сударь? – спросил меня граф.

И тут я вдруг заметил, что его жена вся дрожит мелкой дрожью, и белая атласная шея пошла у нее пупырышками, – как говорится, покрылась гусиной кожей. А я смеялся в душе, но ни один мускул на лице у меня не шевельнулся.

– Это один из моих поставщиков, – сказала графиня.

Граф повернулся ко мне спиной, а я вытащил из кармана угол сложенного векселя. Увидев этот беспощадный жест, молодая женщина подошла ко мне и подала мне бриллиант.

– Возьмите, – сказала она. – И скорее уходите.

В обмен на бриллиант я отдал вексель и, поклонившись, вышел. На мой взгляд, бриллиант стоил верных тысячу двести франков. На графском дворе я увидел толпу всякой челяди – лакеи чистили щетками свои ливрейные фраки, наводили глянец на сапоги, конюхи мыли роскошные экипажи. Вот что гонит ко мне знатных господ. Вот что заставляет их пристойным образом красть миллионы, продавать свою родину. Чтобы не запачкать лакированных сапожек, расхаживая пешком, важный барин и всякий, кто силится подражать ему, готовы с головой окунуться в грязь. Как раз тут ворота распахнулись, и въехал в кабриолете тот самый молодой щеголь, который учел у меня вексель графини.

– Сударь, – сказал я, когда он выскочил из кабриолета, – вот двести франков, передайте их, пожалуйста, графине и скажите ей, что заклад, который она мне дала, я немного придержу и недельку он будет в ее распоряжении.

Щеголь взял двести франков, и по губам его скользнула насмешливая улыбка, говорившая: «Ага, заплатила! Ну что ж, отлично!»

И я прочел на его лице всю будущность графини. Этот белокурый красавчик, холодный, бездушный игрок, разорится сам, разорит ее, разорит ее мужа, разорит детей, промотав их наследство, да и в других салонах учинит разгром почище, чем артиллерийская батарея в неприятельских войсках.

Затем я отправился на улицу Монмартр к мадемуазель Фанни. Я поднялся по узкой крутой лестнице на шестой этаж. Меня впустили в квартиру из двух комнат, где все сверкало чистотой, блестело, как новенький дукат; ни пылинки не было на мебели в первой комнате, где меня приняла хозяйка, мадемуазель Фанни, молоденькая девушка, одетая просто, но с изяществом парижанки; у нее была грациозная головка, свежее личико и приветливый вид; каштановые, красиво зачесанные волосы спускались двумя гладкими полукружиями, прикрывая виски, и это сообщало какое-то тонкое выражение ее голубым глазам, чистым, как кристалл. Солнце, пробиваясь сквозь занавесочки на окнах, озаряло мягким светом весь ее скромный облик. Вокруг нее стопками лежали раскроенные куски полотна, и я понял, чем она зарабатывала на жизнь: она, конечно, была белошвейкой. Эта девушка казалась феей одиночества.

Я протянул ей вексель и сказал, что приходил утром, но не застал ее.

– А ведь деньги были у привратницы, – сказала она.

Я притворился, что не расслышал.

– Вы, как видно, рано выходите из дому.

– Вообще я очень редко куда выхожу, но, знаете, когда всю ночь просидишь за работой, хочется пойти искупаться.

Я посмотрел повнимательней и с первого взгляда разгадал ее. Передо мной, несомненно, была девушка, которую нужда заставляла трудиться не разгибая спины, – вероятно, дочь какого-нибудь честного фермера: на лице у нее еще виднелись мелкие веснушки, свойственные крестьянским девушкам. От нее веяло чем-то хорошим, по-настоящему добродетельным. Я как будто вступил в атмосферу искренности, чистоты душевной, и мне даже как-то стало легче дышать. Бедная простушка! Она во что-то верила: над изголовьем ее немудреной деревянной кровати висело распятие, украшенное двумя веточками букса. Я почти умилился. Я готов был предложить ей денег взаймы всего лишь из двенадцати процентов, чтобы помочь ей купить какое-нибудь прибыльное дело. «Ну нет, – образумил я себя. – У нее, пожалуй, есть

молодой двоюродный братец, который заставит ее подписывать векселя и обчистит бедняжку». С тем я и ушел, предостерегая себя от великодушных порывов: ведь мне частенько приходилось наблюдать, что если самому благодетелю и не вредит благодеяние, то для того, кому оно оказано, подобная милость бывает губительной. Когда вы вошли сегодня в мою комнату, я как раз думал о Фанни Мальво, – вот из кого вышла бы хорошая жена, мать семейства. Сравнить только чистую одинокую жизнь этой девушки с жизнью богатой графини, которая уже принялась подписывать векселя, а скоро скатится на самое дно всяческих пороков!

Задумавшись, он молчал с минуту, а я в это время разглядывал его.

– А ну-ка, скажите, – вдруг промолвил он, – разве плохие у меня развлечения? Разве не любопытно заглянуть в самые сокровенные изгибы человеческого сердца? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь и увидеть ее без прикрас, во всей неприкрытой наготе? Каких только картин не насмотришься! Тут и мерзкие язвы, и неутешное горе, тут любовные страсти, нищета, которую подстерегают воды Сены, наслаждения юноши – роковые ступени, ведущие к эшафоту, смех отчаяния и пышные празднества. Сегодня видишь трагедию: какой-нибудь честный труженик, отец семейства, покончил с собою, оттого что не мог прокормить своих детей. Завтра смотришь комедию; молодой бездельник пытается разыграть перед тобой современный вариант классической сцены обольщения Диманша его должником! Вы, конечно, читали о хваленом красноречии новоявленных добрых пастырей прошлого века? Я иной раз тратил время, ходил их послушать. Им удавалось кое в чем повлиять на мои взгляды, но повлиять на мое поведение – никогда! – как выразился кто-то. Так знайте же, все эти ваши прославленные проповедники, всякие там Мирабо, Верньо и прочие – просто-напросто жалкие заики по сравнению с моими повседневными ораторами. Какая-нибудь влюбленная молодая девица, старик купец, стоящий на пороге разорения, мать, пытающаяся скрыть проступок сына, художник без куска хлеба, вельможа, который впал в немилость и, того и гляди, из-за безденежья потеряет плоды своих долгих усилий, – все эти люди иной раз изумляют меня силой своего слова. Великолепные актеры! И дают они представление для меня одного! Но обмануть меня им никогда не удастся. У меня взор как у Господа Бога: я читаю в сердцах. От меня ничто не укроется. А разве могут отказать в чем-либо тому, у кого в руках мешок с золотом? Я достаточно богат, чтобы покупать совесть человеческую, управлять всесильными министрами через их фаворитов, начиная с канцелярских служителей и кончая любовницами. Это ли не власть? Я могу, если пожелаю, обладать красивейшими женщинами и покупать нежнейшие ласки. Это ли не наслаждение? А разве власть и наслаждение не представляют собою сущности вашего нового общественного строя? Таких, как я, в Париже человек десять; мы властители ваших судеб – тихонькие, никому не ведомые. Что такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги? Помните, что средства к действию сливаются с его результатами: никогда не удастся разграничить душу и плотские чувства, дух и материю. Золото – вот духовная сущность всего нынешнего общества. Я и мои братья, связанные со мною общими интересами, в определенные дни недели встречаемся в кафе «Фемида» возле Нового моста. Там мы беседуем, открываем друг другу финансовые тайны. Ни одно самое большое состояние не введет нас в обман, мы владеем секретами всех видных семейств. У нас есть своего рода «черная книга», куда мы заносим сведения о государственном кредите, о банках, о торговле. В качестве духовников биржи мы образуем, так сказать, трибунал священной инквизиции, анализируем самые на вид безобидные поступки состоятельных людей и всегда угадываем верно. Один из нас надзирает за судейской средой, другой за финансовой, третий – за высшим чиновничеством, четвертый – за коммерсантами. А под моим надзором находится золотая молодежь, актеры и художники, светские люди, игроки – самая занятая часть парижского общества. И каждый нам рассказывает о тайнах своих соседей. Обманутые страсти, уязвленное тщеславие болтливы. Пороки, разочарование, месть – лучшие агенты полиции. Как и я, мои братья всем насладились, всем пресытились и любят теперь только власть и деньги ради самого обладания

властью и деньгами. Вот здесь, – сказал он, поведя рукой, – в этой холодной комнате с голыми стенами, самый пылкий любовник, который во всяком другом месте вскипит из-за малейшего намека, вызовет на дуэль из-за острого словечка, молит меня, как Бога, смиренно прижимая руки к груди! Пропливая слезы бешеной ненависти или скорби, молит меня и самый спесивый купец, и самая надменная красавица, и самый гордый военный. Сюда приходит с мольбою и знаменитый художник, и писатель, чье имя будет жить в памяти потомков. А вот здесь, – добавил он, прижимая палец ко лбу, – здесь у меня весы, на которых взвешиваются наследства и корыстные интересы всего Парижа. Ну как вам кажется теперь, – сказал он, повернувшись ко мне бледным своим лицом, будто вылитым из серебра, – не таятся ли жгучие наслаждения за этой холодной, застывшей маской, так часто удивлявшей вас своей неподвижностью?

Я вернулся к себе в комнату совершенно ошеломленным. Этот высохший старикашка вдруг вырос в моих глазах, стал фантастической фигурой, олицетворением власти золота. Жизнь и люди внушали мне в эту минуту ужас.

«Да неужели все сводится к деньгам?» – думал я.

Помнится, я долго не мог заснуть. Мне все мерещились вокруг груды золота. Да и красавица графиня очень занимала меня. Должен признаться, к стыду моему, что она совсем затмила образ Фанни Мальво, простодушного чистого создания, обреченного на труд и безвестность. Но утром, в туманных грезах пробуждения, милый девический образ сразу возник передо мной во всей прелести, и я уже думал только о Фанни.

– Не хотите ли выпить стакан воды с сахаром? – спросила г-жа Гранлье, прервав Дервиля.

– С удовольствием, – ответил он.

– Знаете, я не вижу, какое отношение к нам имеет вся эта история, – заметила г-жа Гранлье, позвонив в колокольчик.

– Гром и молния! – воскликнул Дервиль, употребив любимое свое выражение. – Я сейчас сразу прогоню сон от глаз мадемуазель Камиллы – пусть она знает, что ее счастье совсем еще недавно зависело от папаши Гобсека. Но так как старик на днях умер, дожив до восьмидесяти девяти лет, господин де Ресто скоро вступит во владение превосходным состоянием. Как и почему – это надо объяснить. А что касается Фанни Мальво, то вы ее хорошо знаете. Это моя жена.

– Друг мой, – заметила виконтесса де Гранлье, – вы, по свойственной вам откровенности, пожалуй, признаетесь в этом при двадцати свидетелях!

– Да я готов крикнуть это всему миру! – заявил стряпчий.

– Вот сладкая вода, пейте, милый мой Дервиль. Никогда вы ничего не достигнете, зато будете счастливейшим и лучшим из людей.

– Я немножко потерял нить, – сказал вдруг брат виконтессы, пробуждаясь от сладкой дремоты. – Так вы, значит, были у какой-то графини на Гельдерской улице. Что вы там делали?

– Через несколько дней после моего разговора со стариком голландцем, – продолжал свой рассказ Дервиль, – я защитил диссертацию, получил степень лиценциата прав, затем был зачислен в коллегия стряпчих. Доверие ко мне старого скряги Гобсека очень возросло. Он даже обращался ко мне за советами по разным своим рискованным аферам, в которые смело пускался, собрав точные сведения, хотя даже самый искушенный делец счел бы их опасными. К удивлению моему, этот человек, на которого никто ни в чем не мог повлиять, выслушивал мои советы с какой-то почтительностью. Правда, они всегда шли ему на пользу. Но вот, проработав три года в конторе стряпчего, я получил там должность старшего клерка и переехал с улицы Де-Грэ, так как мой патрон, помимо ста пятидесяти франков жалованья в месяц, давал мне теперь еще стол и квартиру. Какой это был счастливый день для меня! Когда я зашел к старому ростовщику проститься, он не сказал мне ни одного дружеского слова, не выразил никакого сожаления, не пригласил бывать у него, а только бросил на меня взгляд, свой удивительный, необыкновенный взгляд, по которому можно было подумать, что он обладает даром ясновиде-

ния. Однако неделю спустя старик сам навестил меня, принес запутанное дело об отчуждении земельного участка, и с тех пор по-прежнему стал пользоваться моими безвозмездными советами с такою непринужденностью, как будто платил за них. В конце второго, тысяча восемьсот восемнадцатого – тысяча восемьсот девятнадцатого года, зимою, мой патрон, большой кутила и расточитель, оказался в стесненных обстоятельствах, вынуждавших его продать контору. Хотя в те времена цены на патент стряпчего не достигали таких баснословных сумм, как теперь, он запросил за свое заведение не мало – сто пятьдесят тысяч франков. Если б деятельному, знающему и толковому стряпчему доверили такую сумму на покупку этой конторы, он мог бы прилично жить на доходы от нее, уплачивать проценты и за десять лет расквитаться с долгом. Но у меня гроша за душой не было, так как отец у меня мелкий провинциальный буржуа. Я седьмой по счету в нашей семье, а из всех капиталистов в мире я был близко знаком только с Гобсеком. . . Но, представьте, честолюбивое желание и какой-то слабый луч надежды внушили мне дерзкую мысль обратиться к нему. И вот однажды вечером я медленным шагом направился на улицу Де-Грэ. Сердце у меня сильно билось, когда я постучался в двери хорошо мне знакомого угрюмого дома. Мне вспомнилось все, что я слышал от старого скряги в ту пору, когда я и не подозревал, какая мучительная тревога терзает людей, переступающих порог его жилища. А вот теперь я иду проторенной ими дорожкой и буду так же просить, как они. «Ну нет, – решил я, – честный человек должен всегда и везде сохранять свое достоинство. Унижаться из-за денег не стоит. Покажу себя таким же практичным, как он».

Когда я съехал с квартиры, папаша Гобсек снял мою комнату, чтобы избавиться от соседей, и велел в своей двери прорезать решетчатое окошечко; меня он впустил только после того, как разглядел в это окошечко мое лицо.

– Что ж, – сказал он пискливым голоском, – ваш патрон продает свою контору?

– Откуда вы знаете? Он никому не говорил об этом, кроме меня.

Губы старика раздвинулись, и в углах рта собрались складки, как на оконных занавесках, но его немую усмешку сопровождал холодный взгляд.

– Только этому я и обязан честью видеть вас у себя, – добавил он сухим тоном и умолк. Я сидел как потерянный.

– Выслушайте меня, папаша Гобсек, – заговорил я наконец, изо всех сил стараясь говорить спокойно, хотя бесстрастный взгляд этого старика, не сводившего с меня светлых блестящих глаз, смущал меня.

Он сделал жест, означавший: «Говорите!»

– Я знаю, что растрогать вас очень трудно. Поэтому я не стану тратить красноречия, пытаюсь изобразить вам положение нищего клерка, у которого вся надежда только на вас, так как в целом мире ему не найти близкую душу, которой не безразлична его будущность. Но оставим близкие души в покое, дела решаются по-деловому, без чувствительных излияний и всяких нежностей. Положение дел вот какое. Моему патрону контора приносит двадцать тысяч дохода в год; но я думаю, что в моих руках она будет давать сорок тысяч. Я чувствую: вот тут есть кое-что, – сказал я, постучав себя пальцем по лбу, – и если бы вы согласились ссудить мне сто пятьдесят тысяч, необходимые для покупки конторы, я в десять лет расплатился бы с вами.

– Умные речи! – сказал Гобсек и наградил меня рукопожатием. – Никогда еще с тех пор, как я веду дела, ни один человек так ясно не излагал мне цели своего посещения. А какие гарантии? – спросил он, смерив меня взглядом, и тут же сам себе ответил: – Никаких. Сколько вам лет?

– Через десять дней исполнится двадцать пять. Иначе я бы не мог заключать договоры.

– Правильно.

– Ну, так как же?

– Пожалуй!

– Правда? Тогда надо все поскорее устроить, иначе перебыют, дадут дороже.

– Завтра утром принесите метрическую выпись, и мы поговорим о вашем деле. Я подумаю.

Утром, в восемь часов, я уже был у старика. Он взял у меня метрику, надел очки, откашлялся, сплюнул, закутался поплотнее в черную свою крылатку и внимательно прочел всю метрическую выпись, от первого до последнего слова; повертел ее в руках, поглядел на меня, опять покашлял, заерзал на стуле и сказал:

– Ну что ж, давайте торговаться.

Я затрепетал.

– Я беру за кредит по-разному, – сказал он, – самое меньшее пятьдесят процентов, сто, двести, а когда и пятьсот.

Я побледнел.

– Ну а с вас по знакомству я возьму только двенадцать с половиной процентов... – Он замялся. – Нет, не так, – с вас я возьму тринадцать процентов в год. Подойдет вам?

– Подойдет, – ответил я.

– Смотрите. Если много, защищайтесь, Гроций (он иногда в шутку называл меня Гроцием). Я с вас прошу тринадцать процентов – такое уж мое ремесло. Прикиньте – под силу вам столько платить? Я не люблю, когда человек сразу сдается. Еще раз спрашиваю, не много ль это?

– Нет, – ответил я. – Я расплачусь, придется только приналечь на работу.

– Вот оно что! – заметил Гобсек, поглядывая на меня искоса лукавым взглядом. – Значит, клиенты расплатятся?

– Ну нет, черт возьми! – воскликнул я. – Сам расплачусь. Я скорее дам себе руку отрубить, чем стану грабить людей.

– До свидания, – сказал Гобсек.

– Гонорар я буду брать по таксе.

– Таксы нет на некоторые дела – например, на получение отсрочек по платежам, на любовные соглашения. Тут можно брать по две, по три тысячи франков, а то и по шести тысяч, в зависимости от важности дела, да еще за переговоры, за разъезды, за составление актов, всяких выписок и за говорильню в суде. Надо только уметь находить такие дела. Я вас буду рекомендовать как очень знающего и толкового стряпчего, стану посылать к вам клиентов, и они потащат к вам столько судебных исков, что ваша адвокатская братия лопнет от зависти. Мои коллеги, Вербруст, Пальма, Жигонне, поручат вам вести дела об отчуждении земельных участков, а у них таких дел уйма. Значит, у вас будут две клиентуры: одна по наследству от вашего патрона, другую предоставляю вам я. Пожалуй, надо бы взять с вас пятнадцать процентов годовых, я ведь вам полтора ста тысяч даю.

– Хорошо, пусть будет так, но не больше, – сказал я с твердостью, желая показать, что это предел и что дальше я не пойду.

Гобсек смягчился – он, видимо, был доволен мной.

– За контору я сам уплачу вашему патрону, – сказал он, – я постараюсь добиться солидной скидки и с цены, и с суммы залога.

– Пожалуйста. Обеспечьте себя какими угодно гарантиями.

– А вы мне выдадите после этого пятнадцать векселей, каждый на десять тысяч франков.

– Только надо зарегистрировать эту двойную сделку и...

– Нет! – сердито воскликнул Гобсек, прерывая меня. – Почему я должен доверять вам больше, чем вы мне?

Я промолчал.

– А сверх процентов, – добавил он уже благодушным тоном, – вы будете бесплатно, пока я жив, вести мои дела. Хорошо?

– Согласен, но никаких расходов из своих средств производить я не буду.

– Правильно! – сказал Гобсек. – А кстати, – добавил он с необычным для него ласковым выражением лица, – вы позволите мне навещать вас?

– Всегда буду рад вас видеть.

– Только знаете, утром это и вам и мне неудобно: у вас свои дела, у меня свои.

– Приходите по вечерам.

– Нет, это тоже не годится, – живо возразил он. – Вам надо бывать в обществе, встречаться с клиентами. А у меня есть приятели, мы проводим вечера в кафе.

«Приятели? Неужели?» – подумал я и сказал:

– Знаете что? Будем встречаться за обедом.

– Превосходно! – одобрил Гобсек. – После биржи, в пять часов. Условимся так: я буду приходить к вам два раза в неделю – по средам и субботам. Мы будем беседовать о делах, как друзья. Ого! Я иной раз бываю в веселом расположении духа. Вы угостите меня крылышком куропатки, бокалом шампанского, и мы с вами поболтаем. У меня в запасе уйма занимательных историй, о которых теперь уже можно рассказывать, и вы из них многому научитесь, узнаете людей, особенно – женщин.

– Идет! Куропатка и шампанское.

– Смотрите, не роскошествуйте, а то лишитесь моего доверия. Не вздумайте поставить дом на широкую ногу. Наймите старуху кухарку, вот и вся прислуга. Я буду навещать вас, узнавать, в добром ли вы здоровье. Я ведь вложу в вас целый капитал! Хе-хе! Надо же мне, конечно, знать, как идут ваши дела. Ну, до свиданья. Приходите под вечер с вашим патроном.

– Разрешите спросить, если вы не сочтете это нескромным любопытством, – сказал я старику, когда он проводил меня до порога, – зачем вам понадобилась моя метрическая выпись?

Жан Эстер ван Гобсек пожал плечами и, хитро улыбаясь, ответил:

– До чего глупа молодежь! Извольте знать, господин стряпчий, и запомните хорошенько, чтоб вас не провели при случае, – ежели человеку меньше тридцати, то его честность и дарования еще могут служить в некотором роде обеспечением ссуды. А после тридцати уже ни на кого полагаться нельзя.

И он запер за мною дверь.

Три месяца спустя я стал стряпчим, а вскоре после этого мне посчастливилось, сударыня, выиграть тяжбы о возвращении вам вашей недвижимости. Успех этот принес мне некоторую известность. Хотя мне приходилось выплачивать Гобсеку огромные проценты, я через пять лет уже расквитался с ним полностью. Я женился на Фанни Мальво, которую полюбил всей душой. Сходство нашей с нею участи, трудовая жизнь и успехи еще укрепили наше взаимное чувство. Умер один из ее дядьев, разбогатевший фермер, и она получила по наследству семьдесят тысяч франков – это помогло мне расплатиться с Гобсеком. А с тех пор моя жизнь – непрерывное счастье и благополучие. Больше я о себе говорить не буду: счастливый человек – тема нестерпимо скучная. Вернемся к героям моей истории. Спустя год после покупки конторы я однажды, почти против воли, попал на холостяцкую пирушку. Один из моих приятелей давал обед, проиграв пари молодому франту, светскому льву. Слава господина де Трай, блестящего денди, гремела тогда в салонах.

– Да и теперь еще гремит, – заметил граф де Борн, прерывая стряпчего. – Он неподражаемо носит фрак, неподражаемо правит лошадьми, запряженными цугом. А как Максим играет в карты, как он кушает и пьет! Такого изящества манер в целом мире не увидишь. Он знает толк и в скаковых лошадях, и в модных шляпах, и в картинах. Женщины без ума от него. В год он проматывает тысяч сто, однако ж не слышать, чтобы у него было хоть захудалое поместье или хоть какая-нибудь рента. Это образец странствующего рыцаря нашего времени – странствует же он по салонам, будуарам, бульварам нашей столицы, это своего рода амфибия, ибо в натуре у него мужских черт столько же, сколько женских. Да, граф Максим де Трай – существо самое странное, на все пригодное и никуда не годное, субъект, внушающий и страх и презре-

ние, всезнайка и круглый невежда, способный оказать благодеяние и совершить преступление, то подлец, то само благородство, бретер, больше испачканный грязью, чем запятнанный кровью, человек, которого могут терзать заботы, но не угрызения совести, которого ощущения занимают сильнее, чем мысли, по виду душа страстная и пылкая, а внутренне холодная, как лед, – блестящее соединительное звено между обитателями каторги и людьми высшего света. Ум у Максима де Трай незаурядный, из таких людей иногда выходят Мирабо, Питты, Ришелье, но чаще всего – графы де Хорн, Фукье-Тенвили и Коньяры.

– Так вот, – заговорил Дервиль, внимательно выслушав брата виконтессы, – я много слышал об этом человеке от несчастного старика Горио, одного из моих клиентов, и старательно уклонялся от опасной чести познакомиться с ним, когда встречал его в обществе. Но тут мой приятель так настойчиво звал меня на свой пир, что я не мог отказаться, иначе меня ославили бы ханжой. Вам, сударыня, трудно представить себе, что такое холостяцкий званый обед. Пышность, редкостные блюда, во всем роскошь, как у скряги, вздумавшего из тщеславия на один день пуститься в мотовство. Войдешь и глаз оторвать не можешь: какой стройный порядок царит на накрытом столе! Сверкает серебро и хрусталь, снежной белизной блещет камчатная скатерть. Словом, жизнь в цвету. Молодые люди очаровательны, улыбаются, говорят тихо, похожи на женихов под венцом, и все вокруг них сияет девственной чистотой. А через два часа... На столе разгром, как на бранном поле после побоища; повсюду осколки разбитых бокалов, скомканные салфетки; на блюдах искромсанные кушанья, на которые противно смотреть; крик, хохот, шутовские тосты, перекрестный огонь эпиграмм и циничных остроумий, побавровевшие лица, бессмысленно горящие глаза, разнузданная откровенность душевных излияний. Шум поднимается адский: один бьет бутылки, другой затягивает песню, третий вызывает приятеля на дуэль, а те, глядишь, обнимаются или дерутся. В воздухе стоит отвратительный чад, в котором смешалась целая сотня запахов, и такой рев, как будто кричат сто голосов разом. Никто уже не замечает, что он ест, что пьет и что говорит; один молчит угрюмо, другие болтают без умолку, а кто-нибудь, точно сумасшедший, твердит все одно и то же слово, равномерно гудит, как колокол; другие пытаются командовать этим сумбуром, самый искушенный предлагает поехать в зланные места. Если бы трезвый человек вошел сюда в это время, он, наверное, подумал бы, что попал на вакханалию. И вот в таком диком угаре господин де Трай попытался заручиться моим расположением. Я еще кое-что соображал и держался настороже. Зато он казался вдребезги пьяным, хотя в действительности был в полном рассудке и думал только о своих делах. Уж не знаю, как это случилось, но он совсем меня околдовал, и в девять часов вечера, выходя из гостиной де Гриньона, я пообещал, что завтра утром свезу его к Гобсеку. Этот златоуст де Трай сумел просто с волшебной ловкостью опутать меня своими речами, ввертывая в них, и всегда очень к месту, такие слова, как «честь», «благородство», «графиня», «порядочная женщина», «добродетель», «несчастье», «отчаяние» и так далее. Утром, проснувшись, я попытался вспомнить, что я наговорил вчера, и с трудом мог собраться с мыслями. Наконец я припомнил, что, кажется, дочь одного из моих клиентов попала в беду и может лишиться доброго имени, уважения и любви супруга, если нынче утром до двенадцати часов не достанет пятидесяти тысяч франков. Тут были замешаны и карточные долги, и счета каретника, и какие-то растраты... Мой обаятельный собутыльник заверял меня, что эта дама довольно богата и за несколько лет сумеет бережливостью возместить урон, который нанесла своему состоянию. И только тут я понял, почему мой приятель так настойчиво приглашал меня к себе. Но признаю, к стыду своему, мне и на ум не приходило, что сам Гобсек был весьма заинтересован в примирении с блистательным денди. Едва я успел встать с постели, явился господин де Трай.

– Граф, – сказал я, когда мы обменялись обычными любезностями, – я, право, не понимаю, зачем вам нужно, чтобы я привел вас к Гобсеку, – ведь он самый учтивый и самый без-

обидный из всех ростовщиков. Он вам даст денег, если они есть у него, – вернее, если вы представите ему достаточные гарантии.

– Господин Дервиль, – ответил де Трай, – я не намерен насильно требовать от вас этой услуги, хотя вчера вы обещали мне оказать ее.

«Гром и молния! – мысленно воскликнул я. – Неужели я дам этому человеку повод думать, будто я не умею держать слово!»

– Вчера я имел честь объяснить вам, что очень некстати поссорился с папашей Гобсеком, – заметил де Трай. – Ведь во всем Париже, кроме него, не найдется такого финансиста, который в конце месяца, пока не подведен баланс, может выложить в одну минуту сотню тысяч. Вот я и попросил вас помирить меня с ним. Но не будем больше говорить об этом.

И господин де Трай, посмотрев на меня с учтиво-оскорбительной усмешкой, направился к двери.

– Я поеду с вами к Гобсеку, – сказал я.

Когда мы приехали на улицу Де-Грэ, денди все озирался вокруг с таким странным, напряженным вниманием и взгляд его выражал такую тревогу, что я был поражен. Он то бледнел, то краснел, то вдруг желтизна проступала у него на лице, а лишь только он завидел подъезд Гобсека, на лбу у него заблестели капельки пота. Когда мы выскочили из кабриолета, из-за угла на улицу Де-Грэ завернул фиакр. Ястребиным своим взором молодой щеголь сразу разглядел в уголке кареты женскую фигуру, и на его лице вспыхнула почти звериная радость. Он подозвал проходившего мимо мальчишку и поручил ему подержать лошадь. Мы поднялись по лестнице и вошли к старику дисконтёру.

– Господин Гобсек, – сказал я, – вот я привел к вам одного из самых близких моих друзей. (Бойтесь его как дьявола, – шепнул я на ухо старику.) Надеюсь, по моей просьбе вы возвратите ему доброе свое расположение (за обычные проценты) и выручите его из беды (если это вам выгодно).

Господин де Трай низко поклонился ростовщику, сел и, приготовляясь выслушать его, принял изящно-угодливую позу царедворца, которая пленила бы кого угодно; но мой Гобсек сидел в кресле у камелька все так же неподвижно, все такой же бесстрастный. Он походил на статую Вольтера в перистиле Французской комедии, освещенную вечерними огнями. В качестве приветствия он лишь слегка приподнял истрепанный картуз, всегда покрывавший его голову, и мелькнувшая полоска голого черепа, желтого, как старый мрамор, довершила это сходство.

– Деньги у меня есть только для моих постоянных клиентов, – сказал он.

– Так вы, значит, очень разгневались, что я к другим пошел разоряться? – улыбнувшись, отозвался граф.

– Разоряться? – с иронией переспросил Гобсек.

– Вы хотите сказать, что, у кого в кармане свистит, тому и разоряться нечего? А вы попробуйте-ка сыскать в Париже человека с таким вот солидным капиталом, как у меня! – воскликнул этот фат и, встав, повернулся на каблуках. Шутовская его выходка, имевшая почти серьезный смысл, нисколько, однако, не расшевелила Гобсека.

– А кто у меня самые закадычные друзья? – продолжал де Трай. – Господа Ронкероль, де Марсе, Франкессини, оба Ванденеса, Ажуда-Пинто – словом, самые блестящие в Париже молодые люди. Я неизменный партнер за карточным столом одного принца и хорошо известного вам посланника. Я собираю доход в Лондоне, в Карлсбаде, в Бадене, в Бате. Великолепный промысел! Разве не верно?

– Верно.

– Вы со мной обращаетесь как с губкой, черт подери! Даете мне пропитаться золотом в светском обществе, а в трудную для меня минуту возьмете да выжмете. Но смотрите, ведь и с вами то же самое случится. Смерть и вас выжмет, как губку.

– Возможно.

– Да если б не расточители, что бы вы делали? Мы с вами друг для друга необходимы, как душа и тело.

– Правильно.

– Ну, дайте руку, помиримся, папаша Гобсек. И проявите великодушие, если все это возможно, верно и правильно.

– Вы пришли ко мне, – холодно ответил ростовщик, – только потому, что Жирар, Пальма, Вербруст и Жигонне по горло сыты вашими векселями и всем их навязывают даже с убытком для себя в пятьдесят процентов. Но выложили-то они вам, по всей вероятности, только половину номинала, значит, векселя ваши и двадцати процентов не стоят. Нет, нет. Слуга покорный! Куда это годится, – продолжал Гобсек. – Разве можно ссудить хоть грош человеку, у которого долгов на триста тысяч франков, а за душой ни сантима. Третьего дня на балу у барона Нусингена вы проиграли в карты десять тысяч.

– Милостивый государь, – ответил граф, с редкостной наглостью смерив его взглядом, – мои дела вас не касаются. Долг платежом красен.

– Верно.

– Мои векселя всегда будут оплачены.

– Возможно.

– И в данном случае весь вопрос сводится для вас к одному: могу я или не могу представить вам достаточный залог под ссуду на ту сумму, которую я хотел бы занять.

– Правильно.

С улицы донесся шум подъезжающего к дому экипажа.

– Сейчас я принесу вам кое-что, и вы, думается мне, будете вполне удовлетворены, – сказал де Трай и выбежал из комнаты.

– О сын мой! – воскликнул Гобсек, вскочив и пожимая мне руку. – Если заклад у него ценный, ты спас мне жизнь! Ведь я чуть не умер! Вербруст и Жигонне вздумали сыграть со мной шутку. Но благодаря тебе я сам нынче вечером посмеюсь над ними.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.